



- ³⁴ Струве П.Б. Patriotika: Политика, культура, религия, социализм. М., 1997. С. 187.
- ³⁵ См.: Пинаев М.Т. Загадка издательского феномена романа Н.Г. Чернышевского «Что делать?» // Волга. 1986. № 4. С. 181–191; Демченко А.А. Писатель – журнал – власть: Из цензурной истории романа «Что делать?» // Цензура как социокультурный феномен: Науч. докл. / Отв. ред. И.Ю. Иванюшина. Саратов, 2007. С. 71–84.
- ³⁶ ПСС. Т. XI. С. 11.
- ³⁷ Писарев Д.И. Соч.: В 4 т. Т. 4. С. 9.
- ³⁸ Фет А.А. Соч. и письма: В 20 т. СПб., 2006. Т. 3. С. 195–259.
- ³⁹ Плеханов Г.В. Избр. филос. произв.: В 5 т. М., 1958. Т. IV. С. 257, 300.
- ⁴⁰ Зеньковский В.В. История русской философии: В 2 т. Л., 1991. Т. 1. Ч. 2. С. 137.
- ⁴¹ Лосский Н.О. История русской философии. Л., 1991. С. 70.
- ⁴² Лесков Н.С. Собр. соч.: В 10 т. М., 1956–1958. Т. 10. С. 21, 22.
- ⁴³ ПСС. Т. III. С. 568.
- ⁴⁴ Добролюбов Н.А. Собр. соч.: В 9 т. М., 1961–1964. Т. 2. С. 389, 547; Т. 6. С. 101–110, 120, 127, 139–140.
- ⁴⁵ Архимандрит Феодор (А.М. Бухарев). О современных духовных потребностях мысли и жизни, особенно русской: Сборник разных статей. М., 1991. С. 146, 147 (Сер. «Русские духовные писатели»).
- ⁴⁶ Бердяев Н.А. Русская идея: Основные проблемы русской мысли XIX века и начала XX века. М.; СПб., 2005. С. 624, 625.
- ⁴⁷ Лесков Н.С. Собр. соч.: В 10 т. Т. 10. С. 21, 22.
- ⁴⁸ Страхов Н.Н. Счастливые люди // Страхов Н.Н. Из истории литературного нигилизма. 1861–1865. СПб., 1890. С. 309–342.
- ⁴⁹ Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч.: В 30 т. М., 1972–1991. Т. XXI. С. 29, 30.
- ⁵⁰ Ростислав <Толстой Ф.М.> Лжемудрость героев Чернышевского // Северная пчела. 1863. № 142.
- ⁵¹ Бердяев Н.А. Русская идея. С. 625.
- ⁵² Зеньковский В.В. История русской философии. Т. 1. ч. 2. С. 142.
- ⁵³ Соловьёв Вл.С. Из литературных воспоминаний. Н.Г. Чернышевский. С. 282.

УДК 821.161.1.09+929 [Полевой+Григорьев]

Н.А. ПОЛЕВОЙ В «МОИХ ЛИТЕРАТУРНЫХ И НРАВСТВЕННЫХ СКИТАЛЬЧЕСТВАХ» А.А. ГРИГОРЬЕВА (1862–1864)

О.Я. Гусакова

Педагогический институт Саратовского государственного университета, кафедра начального языкового и литературного образования
E-mail: Philology@sgu.ru

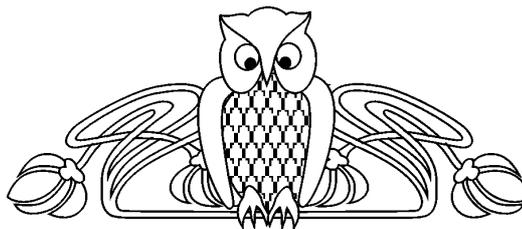
Предлагаемая статья входит в серию статей под общим названием «Творческий портрет Н.А. Полевого в литературных воспоминаниях 1850-х – начала 1860-х гг.», уже опубликованных в разных научных изданиях. Широко известные мемуары этого периода создают единый историко-литературный контекст с литературной критикой А.И. Герцена, Н.Г. Чернышевского и А.В. Дружинина, с новых, современных позиций подводившей в середине столетия итоги тридцатилетнему развитию русской литературы.

Ключевые слова: критика, романтизм, историзм, мемуары, литературные аристократы, литературный журнал, рецензия.

N.A. Polevoy in «My Literary and Moral Wanderings» by A.A. Grigoryev

O. Ya. Gusakova

The article belongs to a series of articles entitled «The portrait of N.A. Polevoy in literary memoirs of the 1850-s – early 1860-s», already published by different scholarly publications. Well-known memoirs from the period, together with criticism by Gerzen, Chernyshevsky, and Druzhinin, constitute a new literary-historical context which enabled a mid-XIX-th century reassessment of the previous thirty years of Russian literary history.



Key words: criticism, Romanticism, historicism, memoirs, aristocrats in literature, literary magazine, review.

В середине 1850-х г. возникла настоятельная и всеобщая потребность осмыслить итоги развития литературы предшествующего периода. В этих условиях стала закономерной и необходимостью обращения к наследию Николая Алексеевича Полевого – одного из «предводителей в литературном и умственном движении» (Н.Г. Чернышевский) первой трети XIX в.

Н.Г. Чернышевский первым после В.Г. Белинского поставил вопрос об исторической роли Н.А. Полевого. В ряде статей, рецензий 1854–1855 гг. и в «Очерках гоголевского периода русской литературы» (1855–1856) критик остановился на ключевых моментах его деятельности, дал высокую оценку Полевому – журналисту и критику. В этих аспектах издатель «Московского телеграфа» предстал как необходимый участник общественно-литературного процесса 1820–1830-х гг., как предшественник Белинского и как критик, принципы которого имеют значение и для современной критики, и для ее будущего.



Вместе с тем тенденциозность большинства оценок Чернышевского не позволяет говорить об исторически объективном изображении критической деятельности Н.А. Полевого. «Закон исторической перспективы» побуждал его отыскивать в деятельности журналиста прежде всего то, в чем он продвинулся вперед сравнительно со своими предшественниками и современниками и чем подготовил будущее. Поэтому Чернышевский не задерживался на падениях Полевого, а также уклонился от рассмотрения вопроса об отношениях Полевого и Белинского в конце 1830-х – начале 1840-х гг.

«Очерки» Чернышевского как бы отделили 1830–1840-е гг. чертой завершенности. Однако вопрос об интерпретации истории русской литературы и критики, ставший в середине века особенно актуальным, не решается на материале одних только «Очерков». Вместе с широко известными работами Н.Г. Чернышевского, А.И. Герцена, А.В. Дружинина необходимость подвести итоги идейно-литературному развитию 1830–1840-х гг. и определить историческое значение виднейших деятелей этого периода отражали литературные воспоминания 1850-х – начала 1860-х гг. Обостренное стремление осмыслить свою жизнь во взаимодействии с лучшими представителями своего и предшествующего поколения сочеталось в них со стремлением найти в этом процессе отражение важных общественных проблем, поставленных эпохой, и вытекающих для современности уроков.

Воспоминания А.А. Григорьева о Полевом и обо всем, что связано с ним, интересны прежде всего тем, что принадлежат человеку, который был воспитан в романтической атмосфере, в эпоху «сереньких тоненьких книжечек «Телеграфа» и «Телескопа», долга дочитываемых молодежью 30-х годов», и в 1860-е гг. оставался живым свидетелем «какого-то беззаветного упоения поэзией, какой-то дюжинной веры в литературу», привитыми «Московским телеграфом» в период его счастливого признания всей образованной публикой в пределах двух столиц государства Российского¹.

По молодости лет мемуарист не мог быть сам свидетелем бурной популярности Полевого, но с теплотой рассказывая о своем наставнике и учителе Сергее Ивановиче Лебедеве, он передает, с каким азартом говорилось в кружке товарищей Сергея Ивановича о «самоучке» Полевом и его журнале с романтическими стремлениями. Сама смутность, с которой разбирался юный Григорьев в беседах и спорах старших, рождала типически григорьевское ощущение времени, в невидимом потоке которого слышались имена «лорд Байрон» и «Александр Пушкин». И в ранних литературных впечатлениях, при всей их наивности, отразилась свежесть григорьевского восприятия жизни и культуры.

«Мои литературные и нравственные скитальчества» Григорьев начинает с тесного сплава

личных впечатлений и объективного духа исторических событий: «... я вполне сын своей эпохи и мои литературные признания могут иметь некоторый литературный интерес» (с. 7). Однако в дальнейшем историческое как бы приподымается (за некоторыми исключениями²) над личным: «Я намерен писать не автобиографию, но историю своих впечатлений; беру себя как объекта, как лицо совершенно постороннее, смотрю на себя как на одного из сынов известной эпохи, и, стало быть, только то, что характеризует эпоху вообще, должно войти в мои воспоминания; мое же личное войдет только в той степени, в какой оно характеризует эпоху» (с. 10). С объективно-исторических позиций Григорьев пытается рассмотреть и деятельность Н.А. Полевого. Замечательно, что именно в главе «Литературные стремления начала тридцатых годов», посвященной Полевому и его «Московскому телеграфу», он вновь в еще более лаконичной форме подчеркивает специфику своего реалистического метода: «Да! исторически живем не «мы как индивидуумы», но живут «веяния», которых мы, индивидуумы, являемся более или менее значительными представителями...» (с. 46).

Григорьев почти избегает описаний событий личной жизни Полевого, объективно, хотя, по выражению Б.Ф. Егорова, и не без «отдельных кратких разливов субъективного чувства», повествует главным образом о том, какое сильное идеологическое и эстетическое воздействие на поколение 1830-х гг. оказал его «Московский телеграф». В этой объективированности, при всех романтических ореолах, справедливо принято усматривать влияние и эпохи вообще и исторической концепции Герцена, назвавшего «Былое и думы» отражением «истории в человеке», в частности³.

С произведением Герцена «Мои литературные и нравственные скитальчества» сближает и глубокий демократизм, с особой силой сказавшийся в оценке деятельности Полевого и Надеждина и в яростно-ненавистном отношении к врагу Н. Полевого – М.А. Дмитриеву.

Полевой был близок Григорьеву своим купеческим происхождением⁴, и критик с явным неодобрением отзывается обо всех, будь то бесильные старцы или литературные аристократы, кто презрительно «с пеной у рта» звали его «купчишка Полевой» и не могли по достоинству оценить демократической направленности его журнала. Григорьев издается над старичками «карамзинского» воспитания, которые, с его точки зрения, совершенно не понимали идеалов и вкусов молодежи 1830-х гг., дает уничижительные, резкие характеристики аристократов, группирующихся около Жуковского и Пушкина.

Заметим, что самого Пушкина Григорьев изображает держащимся в стороне от борьбы литературных аристократов с Полевым, мотивируя это тем, что в поклонении поэту («общему идолу»)



журнал Полевого не перещеголял никто и что даже во времена борьбы с литературными аристократами стихотворения поэта и его друзей продолжали появляться в «плебейском» «Телеграфе». При этом обходится молчанием факт публикации отрицательной рецензии Пушкина на первый том «Истории русского народа» Полевого в «Литературной газете» Дельвига в 1830 г., а также ряда статей П.А. Вяземского, направленных против Полевого. Правда, упрекая Полевого за мелочную и легковесную полемику с Карамзиным, Пушкин был недоволен также мелочными и грубыми рецензиями на его труд, написанными М.П. Погодиным и Н.И. Надеждиным. Это, видимо, и явилось причиной «забывчивости» Григорьева.

Претензии на литературное аристократство стали главной причиной неприятия Григорьевым оценки литературно-критической деятельности Полевого в «Литературных и театральных воспоминаниях» С.Т. Аксакова. Считая книгу Аксакова в общем «искренней и талантливой» (с. 51), Григорьев гневно нападает на него за то, что он в своих воспоминаниях цитирует пошлые куплеты водевилиста А.И. Писарева⁵, «с самых низменных точек громающего популярного “журналиста-купчишку”». Позицию критика нельзя не принять, ведь грубому осмеянию подвергался Полевой периода «Московского телеграфа», когда он (и никто другой) по праву назывался «жадным и смелым ловцом всего нового», «зорким сторожем прогресса», «громителем всяческой рутины».

В высокой оценке Григорьевым деятельности Полевого конца 1820-х – начала 1830-х гг. нет никаких сомнений: «У тогдашнего молодого поколения, – писал он, – есть предводитель, есть живой орган, на лету подхватывающий жадно все, что носится в воздухе, даровитый до гениальности самоучка, легко усвояющий, ясно и страстно передающий все веяния жизни, увлекающийся сам и увлекающий за собою других» (с. 92–93). Гениальным, кажется, Полевого не называл еще никто. Но вряд ли стоит упрекать критика в излишней эмоциональности. Столь благосклонный с его стороны отзыв о литераторе давно прошедших времен лишь доказывает то, что и в зрелый период своей жизни Григорьев не только называл себя «последним романтиком»⁶, но и во многом был вполне человеком 1830-х гг., поскольку никогда позже так не ценили способность человека к самосовершенствованию, как в те романтические времена. Кроме того, способность Полевого передавать «все веяния жизни» и есть то главное в нем, что позволяет действительно объективно отнестись и к его личности, и к той роли, какую ему на самом деле пришлось выполнять в истории литературы, не навязывая ему чужих ролей и тем самым снимая с него незаслуженные обвинения в том, что он плохой критик или писатель, бог весть какой теоретик и мыслитель. Осуждать Полевого за то, что он не оправдал чьих-то на-

дежд по меньшей мере нелепо, поскольку он и не собирался быть ни тем, ни другим, и талант его, как замечательно показал в своих «Записках» Кс. Полевой, совсем иного рода.

Причину необыкновенного успеха «Московского телеграфа» у молодежи 1820–1830-х гг. Ап. Григорьев, разумеется, справедливо видит в том направлении, которое избрал для него его редактор: журнал ставил своей целью и на самом деле отражал важнейшие «веяния» своего времени – трансцендентализм, «уносивший за собою все, что способно было думать», и романтизм, «уносивший за собою все то, что способно было чувствовать» (с. 46). «Статьи о Гете, о Байроне и других корифеях современной тогдашней литературы, – писал Григорьев в воспоминаниях, – ознаменовали читателей с судьбами литератур романтических, культ Шекспиру, Данту <...>, перевод Гофмана, разбор всего нового в юной французской словесности, смелое благоговение перед Гюго, наконец, возможные толки о государственных устройствах цивилизованных народов и посильное, положим хоть и по Кузену, толки о Канте, Фихте, Шеллинге и Гегеле, перехват всякой новой живой мысли, сочувствие всякому новому явлению в жизни и искусстве, азартное увлечение всяким новым мировым веянием, – вот что такое “Телеграф”...» (с. 52).

Особое место среди публикаций журнала занимали материалы по истории. Автором некоторых из них был сам Полевой. Григорьев довольно высоко ценил в нем историка и был одним из немногих критиков, кто считал нападки на Полевого после опубликования им «Истории русского народа» слишком грубыми и не вполне справедливыми. Он с негодованием отзывался о «Московском вестнике» Погодина, старавшемся в своей ожесточенной вражде к Полевому перещеголять «площадным цинизмом» статей об «Истории русского народа» старцев и самый «Вестник Европы». «Нельзя было бы ничего неприличнее, с нашей теперешней точки зрения, – писал Григорьев, – вообразить себе той статьи, которой разразился против «Истории русского народа» редактор «Московского вестника», если бы еще неприличнее не были статьи против нее в старческом «Вестнике Европы» (с. 48). Еще «неприличнее» были статьи Н.И. Надеждина в «Вестнике Европы» за 1830-й г.⁷, действительно содержащие еще более грубые, чем рецензии Погодина, нападки на Полевого за антикарамзинский дух его книги и за эклектизм, за «нахватанность» у других авторов идей и фактов.

Высказывания Григорьева относительно отзыва «Московского вестника» на труд Полевого тем более интересны, что они лишены предвзятости по отношению к участникам споров 1830-х гг. Автором статьи в «Московском вестнике» был также достойный литератор, несмотря «на чрезмерное увлечение своими страстями и неразборчивость насчет средств их выражения»,



– М.П. Погодин. Войну двух журналистов Григорьев склонен считать драматическим обстоятельством, так как ни тот, ни другой, по его словам, не был виноват в том, что захваченные разными «веяниями», они «враждебно стояли друг против друга» (с. 49). Через тридцать лет после жарких литературных сражений, о которых идет речь, Григорьев хорошо понимает, что теперь, конечно же, легко «произносить суд» над противниками, потому что кажется, что им нечего было делить, равно как теперь легко смеяться и над посвящением «Истории русского народа» Нибуру, и над культом, который «совершаем был Карамзину его последователями» (с. 49).

В 1830-е гг. «История русского народа» Полевого, с точки зрения Григорьева, имела важное положительное во многих отношениях значение. Она была написана человеком не только отзвучившим на требования современной ему жизни, купцом по происхождению, но и «в высшей степени русским человеком» («народным человеком»), «как святыню, дорожившим всякою старою грамотою, всякою песнию народа» (с. 52).

Видя в издателе «Телеграфа» борца за идею народности, Григорьев неустанно пытается доказать, что он понимал ее несравненно шире не только А.А. Шаховского (не говоря уж о Писареве с Кокошкиным), но и таких «серьезных, народных людей», как М.П. Погодин, М.Н. Загоскин и С.Т. Аксаков. Тем, кто забыл, он напоминает о том, что прежде чем стать автором комедии о войне Федоськи Сидоровны с китайцами, «Параши Сибирячки», «Ермака» и проч., популярный журналист опубликовал целый цикл исторических повестей, в том числе и «Повесть о Симеоне, Суздальском князе» (1828), «смелый по тому времени протест за удельных и удельщину», а также роман «Клятва при гробе господнем» (1832), в котором им была предпринята попытка проникнуть своим воображением в отдаленную эпоху «изначальной», дохристианской Руси (Там же). Все эти произведения, наряду со статьями, рецензиями и пародиями в «Московском телеграфе», безжалостно разбивали в прах народность в дюкре-дюменилевском духе, лучшим образцом которой была драма А.А. Шаховского «Двумужица»⁸, а также народность в духе псевдопатриотической драмы Н.В. Кукольника «Рука всевышнего отечество спасла».

«Правильному», т.е. современному, демократическому, чувству национальности, которым вполне владел Полевой, необходимо было, считает Григорьев, на время отнестись «совершенно отрицательно к художественной постройке нашего исторического быта Карамзиным по одной, абсолютно-государственной идее – и Полевой явился в своей истории и в своих романах представителем этой отрицательной потребности: он начал работу, которая до сих пор еще не кончена, да еще и не скоро кончится» (с. 57).

Однако, считая труд Полевого важным явлением, Григорьев не закрывал глаза и на «отрицательное» его значение. Он видел в появлении «Истории русского народа» в противовес «Истории государства Российского» определенную закономерность. И дело здесь не только в обычной логике: если есть история государей, должна быть и история народа, но и в том, что «История» Полевого была «началом исторических отрывков местностей, национальностей, толков, поправленных Карамзиным во славу его абсолютной государственной идеи» (с. 52).

Обращение Полевого в своей литературной практике к историческим жанрам Григорьев совсем не склонен был объяснять одной приверженностью романтизму. Он видел здесь прежде всего стремления гражданина и патриота к художественному воплощению идеи о национальной самобытности русской литературы, к созданию народного характера и, таким образом, точно определял своеобразие направления исторической прозы Полевого, которое в современной науке обозначено как «нравственное». Нравственный критерий, действительно, являлся для Полевого главным в художественном познании и отражении прошлого, так как в прошедшем люди ищут уроков для настоящего, «воспоминаниями о неизбежной мести пороку и, награде добродетели, рассказами о доброте и величии предков они хотят учить современное поколение, кажущееся ничтожным против того идеала, который находили они в прошедшем»⁹. От писателя, таким образом, требовался не просто достоверный, но и поучительный рассказ о прошлом.

Вместе с тем Григорьев полагал, что, находясь во власти этих стремлений, Полевой не в силах был с надлежащей строгостью оценить всякого рода попытки создания исторического романа, в том числе и «даровитой по тогдашнему времени» (и «даже с теперешней точки зрения») и так вдохновившей его попытки М.Н. Загоскина. Отзыв Полевого о «Юрии Милославском» представлялся Григорьеву недостаточно взыскательным, во-первых, потому что после появления «пресловутого» романа не произошло никакого переворота в литературных понятиях, а во-вторых, сам Полевой, на его взгляд, в ту пору своим пониманием народа и его истории стоял «несравненно выше», чем первый русский романист. И только впоследствии, да и то «искусственно», дошел в своих драмах до той «квасной кислоты и нравственной сладости», которая господствует в романах Загоскина» (с. 54). Историческую прозу Полевого выше исторических романов Лажечникова, Булгарина и Загоскина ценил и Белинский.

Несмотря на все сказанное, было бы заблуждением обвинять автора «Моих литературных и нравственных скитальществ» в положительной односторонности оценки им деятельности Полевого. Григорьев в одно и то же время и совре-



менник Чернышевского, и свидетель нескольких литературных эпох, каждая из которых из-за дали прошедшего отстоялась в его сознании, превратилась в «отдельное органическое целое». Он пережил то время, когда Полевой, с его точки зрения, именно в силу того что когда-то был представителем современных животрепещущих интересов жизни, превратился в человека отсталого и скоро «сбрендил до непонимания высшей сферы пушкинского развития», а его враги, напротив, казавшиеся отсталыми тридцать с лишним лет тому назад, «шли неуклонно вперед и выродились, наконец, в явно торжествующее во множестве пунктов славянофильство» (с. 96).

Одним словом, Григорьев не торопился совсем становиться на сторону Полевого. Он все помнил, все держал в уме, постоянно имея в виду, что Полевой еще напишет драмы в духе фальшивого патриотизма, что сама борьба, поднятая им против абсолютно-государственной идеи Карамзина, закончится «хохлацким жартом над русской историей». Не забыл Григорьев Полевому и поклонения Гюго и Марлинскому, и «абсолютного непонимания всего нового и живого, начиная с самого Гоголя» (с. 58). Все это учитывал Григорьев, так как «процесс литературных стремлений» понимался им как процесс «органический», и, присматриваясь к «данной минуте», т.е. к деятельности Полевого в 1830-е гг., он пытался разглядеть, «нет ли уже в ней самой зачатков плана разложения». И отвечал самому себе, что есть, и «есть несомненно». Мало того, порой он противоречит самому себе, и ему начинает казаться, что Полевой и его направление «действительно отражали в себе как в зеркале все современные веяния, но отражали безразлично, поверхностно, почти что бессознательно» (с. 58).

Печальным следствием воспитания этим бессознательно отраженным направлением, в представлении Григорьева, стало разделение молодежи тридцатых годов на две части: одну – меньшую, которая «шла в глубь дела, принимала веяния всерьез, переводила их в жизнь и скоро ощущала страшное неудовлетворение поверхностным отражением», а другую, конечно, «многочисленную», которая совершенно довольствовалась верхами и, «вероятно, доселе свой век доживает в безразличном поклонении романтизму». Та и другая молодежь рассматривалась Григорьевым как «два фазиса» русского романтизма, совершенно отличного от европейского тем, что он всякую мысль, как бы она ни была дика или смешна, доводит до самых крайних граней, и притом на деле.

Направление «Телеграфа» и общий уровень тогдашней литературы, отмечает Григорьев, мало удовлетворяли людей «чисто русского закала», «с серьезной жадой мысли и жизни». «Праздношатательство, эпикурейство, весьма притом дешевые, луна, мечта, дева <...>, – иронизировал он, – проповедуемые в поэзии сателлитами Пуш-

кина и всякими виршеплетами в бесчисленных альманахах; немецкий сентиментализм, который стал скоро примешиваться в повестях Полевого и других к лихорадочно-тревожным веяниям и вел совершенно последовательно к знаменитому риторно мещанскому эпилогу «Аббадонны», – все это могло удовлетворить окончательно только ту молодежь, которая <...> в сущности переводила романтические стремления на *суть* знаменитой песни:

Для любви одной природа
Нас на свет произвела,

да уездных или замоскворецких барышень, которые все ожидали, что в последней главе «Онегина» явится опять не убитый им и только почтенный убитым Ленский и соединится с овдовевшею Ольгой, равномерно как Онегин с Татьяной» (с. 59).

Явно утрированные по отношению к содержанию произведения автора «Аббадонны» слова и резкая оценка эпилога романа заметно выбиваются из общего доброжелательного тона воспоминаний Ап. Григорьева о Полевом. Причина проста. Григорьев обеспокоен тем фактом, что крайности романтизма продолжают здравствовать и в современной ему литературе. «Уцелевшими мумиями Полевого и его направления» называет Григорьев произведения Н.П. Жандр («Свет», 1857) и М.В. Воскресенского («Наташа Подгорич», 1858 и др.). «Тридцатые годы, – замечает он, – совершенно как были, вдруг возлетают перед вами запоздалым явлением, – совсем как были, с личностями непризнанных поэтов, воздушных графинь или княгинь, с речами а la Марлинский...» (с. 60).

Таким образом, в самом же Полевом и в направлении литературы, которого он был «горячим и даровитым», но «совершенно слепым вождем», Григорьев видел причину их «крайне пустого будущего». С высоты шестидесятых ему хорошо было видно, что литература уже в конце двадцатых годов «разменивалась на пошлейшие альманахи». Пушкин начинал уже «отвертываться» и «уходить в самого себя». Полевой уже «подавал руку Булгарину» и «начинал не понимать Пушкина» (Там же).

Камнем преткновения для самого Полевого, как и для многих, следовавших за ним, стал во всей своей «величавой целостности» «Борис Годунов». «“Борис”, – писал Григорьев, выдвинул ярко другого литературного деятеля – Н.И. Надеждина. Ему суждено было ответить потребностям серьезной молодежи, положить основы дальнейшему ходу критического сознания и, кроме того, воспитать настоящего вождя нового поколения, Виссариона Белинского» (с. 60)¹⁰.

И все же, оглядываясь назад, А.А. Григорьев замечает, что в конце 1820-х – начале 1830-х гг., несмотря на то что «на сцене» уже появилась «великая и вполне уже почти очерченная физиономия первого цельного выразителя нашей сущности»



(с. 47) – Пушкина, нечего было противопоставить живому направлению журнала Полевого. Ему, разумеется, проигрывали старцы «Вестника Европы», «нежной» Галатеи и «еще более нежного» «Дамского журнала» кн. Шаликова. С ним не могли соперничать и более значительные на тот момент литературные силы: ни «тесный кружок» Аксакова, ни солидарный с ним во многом, но более обширный и состоящий в связи с друзьями Пушкина кружок молодых ученых и аристократов, «столпившихся» в «Московском вестнике» (Погодин, Шевырев, Хомяков, Киреевский). Впрочем, Григорьев готов признать, что «Московский вестник» изначально страдал той «несчастной солидарностью с старым хламом и старыми тряпками», которая впоследствии «подрезывала все побеги жизни в “Москвитяине” пятидесятих годов...» (с. 53).

Сравнивая состояние литературы 1820-х – начала 1830-х гг. с ее состоянием в 1850-е гг., Григорьев отмечает, что в 50-е гг. был Островский, начинало уже «энергетически высказываться» славянофильство. В 1830-е гг. ничего этого не было. Еще здравствовали и издавали свои журналы поколение, воспитавшееся на «выспренних одах», и поколение, «пропитанное насквозь “Бедной Лизой”» Карамзина. У тех и у других (особенно у первых) не только «купчишка Полевой», но и профессор Мерзляков считался «еретиком» за критические разборы Сумарокова, Хераскова и Озерова. Для них не было иной литературы, писал Григорьев, кроме литературы «выдуманных сочинений». К тому же между ними самими, т. е. между «дрянными котурнами и полинявшими бланжевыми чулками», шла «смертельная война за Карамзина» (с. 47).

В конце 1820-х гг., отмечает мемуарист, у молодого поколения, жадного до всего нового, были только два-три стихотворения Хомякова, повести модного писателя Марлинского, окруженного «двойною ореолою – таланта и трагической участи», две-три «оригинально-талантливых», хотя «по обычаю неопрятных» повести Погодина и «глубокая даже по всякому времени, не то что только по тогдашнему», статья И.В. Киреевского «Обзорение русской словесности за 1829 г.», напечатанная в «Деннице на 1830 г.», в которой, как известно, «впервые был оценен пафос «действительности» в творчестве Пушкина» (с. 48).

Пушкин был идиолом молодого поколения, но оно, по словам Григорьева, видело его не таким, каким он на самом деле был, потому ждало от него не того, что он сам был дать намерен: «Он дозрел уже до “Полтавы” – в его портфеле уже лежит, как он (по преданиям) говорил, “сто тысяч и бессмертие”, то есть «комедия о Борисе Годунове и Гришке Отрепьеве», но еще чисто романтически ореолом озарен его лик, еще Байрона видит в нем молодежь» (с. 47). Если бы это тогдашнее молодое поколение могло предвидеть, что Пушкин еще улыбнется «добродушною и вместе саркастиче-

скою улыбкою Ивана Петровича Белкина», будет повествовать «с карамзинской торжественностью и вместе с необычайно метким тактом действительности об исторических судьбах обитателей села Горохина» и будет вглядываться «глубоко симпатично в жизнь какого-нибудь станционного зрителя, оно с ужасом отступило бы от своего идола» (Там же).

Кроме общего направления, журнал Полевого, по выражению Григорьева, и это, видимо, казалось ему еще более важным, отличался «чистотою задач». Критик не расшифровывает, что именно подразумевает под «чистотою задач», но та трогательность, с какой он вспоминает о давно прошедшем, о временах «Телеграфа», позволяет безошибочно определить, что он имел здесь в виду то нравственное направление, которое избрал для себя журнал. И излишне определялось личностью его издателя. Григорьев никогда, в отличие от многих, не сомневался в глубокой порядочности и честности Полевого, которому за эти добродетели многое должно проститься, несмотря на его последующую, «несчастную и обстоятельствами вынужденную драматическую деятельность».

Чувство, которое испытывал Ап. Григорьев к этому «даровитому», «жадному света» и «всем обязанному самому себе» человеку, он сам определил как «чувство симпатии до умиления». Он искренне желал того, чтобы первого журналиста 1830-х гг. узнали и с благодарностью за сделанное им для русской словесности приняли люди позднейшего поколения, и с омерзением вспоминал тех, кто позаботился о том, чтобы последние годы жизни «загнанного обстоятельствами публициста» были отравлены оскорбительной и беспощадной бранью. Так, Григорьев с горечью вспоминает знаменитую «пародию» конца 1830-х гг. на «Светлану» В.А. Жуковского («Новая Светлана»¹¹), сочиненную, по его словам, «одним из бездарных, но весьма солидных старцев», – М.А. Дмитриевым, в которой Полевой перед каким-то трибуналом обвиняется, между прочим, в том, что

.....
 Как он в Курске еще был
 Старый друг Шекспиру,
 Как он друга своего
 Уходил ста за три,
 Анатомили его
 На Большом театре...

И в заключении злорадно рассказывалось, что

У газетчика живет
 Он на содержании (с. 55).

Григорьев отвечал автору сатирического портрета Полевого жестко и иронично: «Не говорю уж я о том, что анатомили “Гамлета” на Большом театре величайший сценический гений русской сцены, то есть Мочалов, и что Полевой своим поэтическим и единственно возможным для



русской сцены переводом “Гамлета” так уходил своего старого друга, что “Гамлет” разошелся на поговорки» (с. 55). Но если грубым насмешкам над трудом, несмотря ни на что все же заслуживающим одобрения, еще можно было найти оправдание, потому что о вкусах не спорят, то ругань над человеком, который «долго, честно, жарко боролся и силою совершенно внешних обстоятельств вынужден был круто поворотить с одной дороги на другую, вынужден для спасения семьи от голода и за неимением собственного журнального органа работать у Сенковского», эту ругань Григорьев не мог оправдать и искренне не понимал, как можно «ругаться вместо того, чтобы сожалеть о слабости характера» даровитого литератора (Там же).

Злоба, с которою все «старцы» 1830-х гг. – «старцы с котурнами» и «старцы в бланжевых чулках» – ополчились против Полевого, рассматривалась Григорьевым как свидетельство полной беспомощности старого перед новым. Ругательства двух «Вестников»¹², эпиграммы М.А. Дмитриева и водевильные куплеты Писарева не могли «язвить» знаменитого журналиста, потому что «все это было тогда несравненно ниже его уровня: «... за тридцать лет назад факты были таковы, что купец Полевой был представителем современных, животрепещущих интересов жизни...» (с. 49); «... за него было все, всякая новая европейская мысль, которую сообщал он тотчас же, схватывая ее на лету, читателям...» (с. 57). Такова итоговая оценка журнальной деятельности Полевого в 1820–1830-е гг., данная А.А. Григорьевым в его воспоминаниях.

Итак, очевидно, что в основе оценки литературно-критической деятельности Н.А. Полевого в воспоминаниях Григорьева лежит исторический подход. Эта оценка совпадает с той, которую дают Белинский в своей последней статье о журналисте, Чернышевский в «Очерках гоголевского периода русской литературы» и Герцен в работе «О развитии революционных идей в России» и в «Было и думал» («<...> он родился быть журналистом, летописцем успехов, открытий, политической и ученой борьбы»¹³). Однако речь в данном случае идет не столько о прямых совпадениях в суждениях критиков, хотя и они имеют место (некоторые из них отмечены нами), сколько об органическом усвоении Григорьевым подытоженного предшественниками. Специфика этого усвоения сказывается в своеобразной художественной «краткости» воспоминаний, отмеченной Б.Ф. Егоровым. «Григорьев, – справедливо пишет исследователь, – ориентируется на литературно грамотного читателя: «... общего знания хода истории литератур и значения литературных периодов я имею основания требовать от того, кому благоугодно будет разрезать эти страницы» (с. 70), – поэтому и при создании образов, и при чисто историко-литературных характеристиках ограничивается намеками и отсылками»¹⁴.

Кроме сказанного выше важно подчеркнуть связь «Моих литературных и нравственных скитальчеств» Григорьева с его собственными критическими работами.

Во-первых, в воспоминаниях Григорьев повторяет ряд суждений, высказанных им в 1850-е гг.: о связи романтизма и философского идеализма (с. 46)¹⁵; о самобытности русского романтизма, проявляющейся в «попытке практического применения философских идей»¹⁶, а также о двух «фазисах» этого направления¹⁷; о «романтически-туманных веяниях», безумных страстях, «дико бушующих» у Марлинского¹⁸ и доведенных до комического в наивных повестях и романах Полевого¹⁹; о Пушкине как «первом цельном выразителе нашей сущности» (с. 47)²⁰.

Во-вторых, в воспоминаниях многие суждения о романтическом направлении и ярчайшем его представителе Полевом, высказанные в статьях Григорьева разных лет, получают дальнейшее развитие в сторону историзма, а его экскурсы в историю оказываются более тесно связанными с современным ему литературным процессом.

Приведем два примера. Известно, что после 1855 г. Григорьев переоценивает роль личности в жизни и литературе, повышает значение индивидуальности критика. И как неоднократно отмечалось, новые идеи приводят критика к пересмотру литературного движения XIX в. в целом и эпохи романтизма в частности²¹.

Яркий теоретик и защитник реализма, Григорьев уже в 1840-е гг. критиковал романтизм прежде всего за одностороннее отношение к жизни, чрезмерный индивидуализм романтического героя. Но и тогда критик признавал «законность» романтического протеста и видел в нем «болезненный момент» в развитии общества²². Те же мысли развивают и его статьи «москвитянинского» периода «Русская литература в 1851 г.» (1852) и «Русская изящная литература в 1852 г.» (1853). В обобщающей статье «Взгляд на русскую литературу со смерти Пушкина» (1859) весь европейский романтизм, исключая его эпигонов тридцатых годов, окончательно реабилитируется им за тревожность, активность, недовольство настоящим, борьбу²³.

Путь преодоления отъединенности романтического бунтующего сознания от общего, по Григорьеву, лежит в обращении к полноте жизни, к действительности в целом. С этих позиций он и критикует и в статье, и в воспоминаниях «идеально-чувственные» стороны романтизма, опасаясь за то, что «минутный отзыв ее еще возможен в душе человеческой»²⁴. Чтобы яснее обозначить искажения, которые принято называть романтическими и которые в полной мере обозначены в творчестве Марлинского, Кукольника и Полевого, Григорьев обращается к Пушкину. В статье о Пушкине, считая поэта «нашей душевною меркою», он пишет: «Пушкин, как истинно великий поэт, понимал, что чувство



правильное носит в себе залог вековечности, что оно не может быть ни грубым чувственным порывом, ни напряженной трагедией, ни болезненной язвой, душевным раком, который истощает в душе все другие соки»²⁵. Но если в 1859 г. Григорьев говорит о возможности воскрешения «смешных крайностей» романтизма гипотетически, то в воспоминаниях речь идет уже как о свершившемся факте. И теперь остроумие, с которым живописуются эти крайности, используется им для борьбы с негативными явлениями в современной ему литературе.

О неудовлетворительном состоянии исторической прозы в 1830-е гг., не отвечающей современным понятиям о народности и историческом, Григорьев писал и в мемуарах и в статье «Взгляд на русскую литературу со смерти Пушкина» (1859): «Это было время исторических романов, выходивших дюжинами в месяц в Москве и в Петербурге, – романов, в которых большею частью изображения предков были прямо списаны с кучеров их потомков, которых народность заключалась только в разговорах ямщиков, да и то еще подслушанных и переданных неверно и несвободно, а историческое – в описаниях старых боярских одежд и вооружений, да столов и кушаний, – в которых оригинальна была только дерзость авторов, изображавших с равной бесцельностью всякую эпоху нашей истории...»²⁶ «Блестящим исключением» среди этих, «сфабрикованных по известным рецептам изделий» критик всегда считал (правда, с серьезными оговорками) романы Загоскина, Полевого и Лажечникова. Однако в 1859 г. «смелые замашки», стремления Полевого к проведению новых исторических мыслей расценивались им только как имевшие отрицательное значение. До понимания их исторического значения Григорьев поднимается лишь в мемуарах.

Историчность оценок Григорьева видна и в его ретроспективных историко-литературных статьях, посвященных 30–40-м гг. XIX в. – «Народность и литература», «Западничество в русской литературе. Причины происхождения его и силы. 1836–1851», «Белинский и отрицательный взгляд в литературе», «Оппозиция застоя. Черты из истории мракобесия»²⁷. В этом цикле Григорьев, как отмечает Б.Ф. Егоров, проникается «гегелевским» принципом исторической закономерности и исторической обусловленности литературных явлений²⁸. Элементы историзма проникли и в воспоминания. Они позволили Григорьеву дать превосходные характеристики общественно-литературным течениям и событиям 1830–1840-х гг. (такова, например, его оценка двойственности европейского романтизма, т.е. консервативных и радикальных тенденций в рамках этого направления), вслед за Чернышевским высоко оценить деятельность предшественников Белинского–Полевого и Надеждина.

Примечания

- ¹ Григорьев А.А. Воспоминания / Под ред. Б.Ф. Егорова. Л., 1980. (Литературные памятники). С. 1. Далее цитируется по этому изданию с указанием номера страницы в тексте.
- ² Яркое выраженный субъективный, полемически заостренный против «прозаического духа» 1860-х гг. характер имеет, например, глава «Нечто весьма скандальное о веяниях вообще».
- ³ См. об этом подр.: Егоров Б.Ф. Художественная проза Ап. Григорьева // Григорьев А.А. Указ. соч. С. 337–368.
- ⁴ Григорьев, при всей социальной нечеткости его позиции, всегда был ненавистником барства, аристократических привилегий. См., напр., очерк Ап. Григорьева «Великий трагик», где даются любовное описание демократической массы зрителей в театре и неоднократные презрительные, резкие характеристики аристократов.
- ⁵ В водевиль А.И. Писарева «Три десятки, или Новое двухдневное сражение» (1825) были введены куплеты, высмеивающие Полевого (см.: Стихотворная комедия конца XVIII – начала XIX в. М.; Л., 1964. С. 916–917).
- ⁶ В понятие «последний романтик» Ап. Григорьев, как известно, вкладывал очень широкий философский, художественный и даже бытовой смысл, определяя им не столько свой художественный метод, сколько тип творческой личности.
- ⁷ Надеждин Н.И. «История русского народа», соч. Н. Полевого. М., 1829. Т. 1. // Вестник Европы. 1830. № 1. С. 37–72; Письмо П.С. Правдивина к Н.А. Надоумко (О втором томе «Истории русского народа») // Там же. № 15–16. С. 276–302.
- ⁸ В третьем номере «Московского телеграфа» за 1833 г. была опубликована статья о «Двумужнице». Григорьев назвал ее в воспоминаниях «меткой, злой и талантливейшей пародией». Вместе с тем он считал, что драма Шаховского заслуживает более сдержанной оценки, так как она, «хотя и лубочным способом, загронула живые, до того нетронутые никем струны народной жизни» (Григорьев А.А. Указ. соч. С. 52).
- ⁹ Полевой Н.А. История русского народа. М., 1830. Т. 1. С. XVI.
- ¹⁰ Отношение Григорьева к Надеждину было также неоднозначным. (см.: Григорьев А.А. Указ. соч. С. 60–61).
- ¹¹ «Новая Светлана» М.А. Дмитриева (конец 1830-х гг.) ходила по рукам в списках. Впервые была напечатана в «Русском архиве» в 1885 г. (№ 1. С. 649–659); но в этом варианте отсутствуют строки «У газетчика живет он на содержаньи». Григорьев, как отмечает Б.Ф. Егоров, «неудачно назвал эту сатиру «пародией на Жуковского»: Дмитриев лишь использовал ритм баллады «Светлана», совершенно не намереваясь ее пародировать» (Егоров Б.Ф. Художественная проза Ап. Григорьева // Григорьев А.А. Указ. соч. С. 392).
- ¹² «Вестник Европы» и «Московский вестник».
- ¹³ Герцен А.И. Собр. соч.: В 30 т. М., 1956. Т. VIII. С. 163.



- ¹⁴ Егоров Б.Ф. Указ. соч. С. 365.
- ¹⁵ Об этом он писал и в ранних своих статьях (например, в рецензии на альманах «Комета» // Москвитянин. 1851. № 9–10. С. 169–178.), и в поздних (например, в цикле «Взгляд на русскую литературу со смерти Пушкина» // Русское слово. 1859. № 3. Отд. II. С. 1–39; в статье «Генрих Гейне» // Там же. № 5. Отд. III. С. 15–28).
- ¹⁶ Григорьев А. И.С. Тургенев и его деятельность. По поводу романа «Дворянское гнездо» (1859) // Григорьев А.А. Литературная критика / Сост., вступ. ст. и примеч. Б.Ф. Егорова. М., 1967. С. 284–285).
- ¹⁷ Там же. С. 207–228.
- ¹⁸ Там же. С. 221.
- ¹⁹ Там же. С. 212, 269.
- ²⁰ Там же. С. 236.
- ²¹ См., напр.: Егоров Б.Ф. Аполлон Григорьев – литературный критик // Григорьев А.А. Литературная критика. М., 1967. С. 25.
- ²² См. автобиографическую прозу, цикл статей «Русская драма и русская сцена» (1846).
- ²³ Григорьев А.А. Литературная критика. С. 207.
- ²⁴ Там же. С. 218.
- ²⁵ Там же. С. 215–216.
- ²⁶ Там же. С. 205.
- ²⁷ Эта серия статей была впоследствии озаглавлена Н.Н. Страховым «Развитие идеи народности в нашей литературе со смерти Пушкина».
- ²⁸ Егоров Б.Ф. Художественная проза Ап. Григорьева // Григорьев А.А. Воспоминания. Л., 1980. С. 358.

УДК 821.111(73).09

ФЕНОМЕН ПОПУЛЯРНОСТИ В АМЕРИКАНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ XVII–XX ВЕКОВ: К ВОПРОСУ О ГЕНЕЗИСЕ МАССОВОЙ БЕЛЛЕТРИСТИКИ В США

Е.В. Староверова

Саратовский государственный университет,
кафедра зарубежной литературы и журналистики
E-mail: Philology@sgu.ru

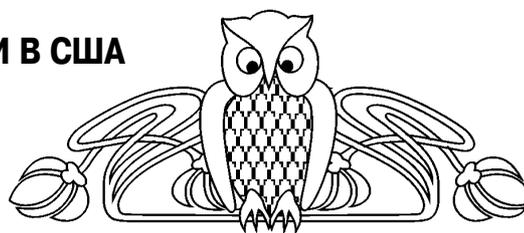
В статье рассматриваются истоки специфических черт массовой беллетристики США – повышенного дидактизма и широкой опоры на традиции национальной словесности. В обиход российской американистики вводятся новые факты (популярный роман Дж.Р. Риджа «Жизнь и приключения Хоакина Мурьеты, знаменитого калифорнийского бандита» (1854) и др.). Художественная литература Северной Америки, изначально ориентированная на самую широкую и демократическую аудиторию, с XVII в. вырабатывала оригинальные приемы и принципы наиболее эффективного воздействия на читателя. Европейские заимствования XVIII в. также адаптировались ею как в национальном духе, так и в плане сугубой доходчивости морального урока. Означенные традиции американской словесности получили развитие в творчестве писателей-романтиков XIX в. (Купер, По, Бичер-Стоу и др.), в котором отчетливо просматриваются параметры популярной литературы США рубежа XIX–XX и XX столетий.

Ключевые слова: американская литература, феномен популярности, вестерн, триллер, sentimentalный роман, беллетристика.

«Popular» in American Literature of the XVII–XX Centuries: Towards the Problem of Genesis of the US Mass Literature

E.V. Staroverova

The article looks into the sources of the US mass literature specific features – high level of didacticism and reliance on the national tradition. The popular novel by John Rollin Ridge «The Life and Adventures of Joaquin Murieta: The Celebrated California Bandit» (1854) is introduced in Russian American studies. American fiction, initially addressed to broad democratic audience, since its inception in the XVII century was developing the techniques of affecting and captur-



ing the reader. European borrowings during the XVIII century were also adapted in the national spirit, as well as in the aspect of clarity of moral lesson. Cooper, Poe, Beecher Stowe and other Romantics developed this tradition, in which the parameters of the XX century US mass literature are already demonstrable.

Key words: American literature, popular fiction, Western, sentimental novel, mass literature.

Даже поверхностный взгляд на историю американской словесности обнаруживает, что с момента ее зарождения вплоть до художественной «революции» начала XX столетия она избегала установки на элитарность. Эстетически заметные исключения из этого общего «правила» были единичными: поэтические свершения преподобного Эдварда Тейлора (XVII–XVIII вв.) да лирика Эмили Дикинсон (XIX в.), отнюдь не стремившихся обнародовать свои стихи. Не случайно столь многие из крупных писателей США: Дж. Фенимор-Купер, Э. По, М. Твен, Дж. Лондон и другие – заслуженно числятся ныне среди «классиков», а порой и «отцов-основателей» популярной беллетристики.

Словесность Североамериканских колоний была ориентирована на самую широкую (по меркам малонаселенной тогда страны) и демократическую читательскую аудиторию. Демократизм ранней национальной литературы обеспечивался социальным составом колонистов, широте же адресата способствовали уже прочно вошедшее в обиход книгопечатание и практически поголовная